

И.А. БУНИН

ОКАЯННЫЕ ДНИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6я44
Б91

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фереца*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Бунин, Иван Алексеевич.

Б91 Окаянные дни : [сборник] / Иван Алексеевич Бунин. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 320 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-120984-1

Книга, которую не публиковали — ни отдельно, ни в составе собраний сочинений — в СССР даже после реабилитации Бунина. Самая жестокая, горькая, безжалостная и самая личная книга писателя. Книга, в которой он, с беспощадной и язвительной иронией и неприкрытой ненавистью, выносит приговор большевизму и советской власти, которую имел несчастье наблюдать сначала в Москве, а потом в Одессе, вплоть до эмиграции.

Ни единого доброго слова не находит великий русский писатель для революции — кровавого, страшного, омерзительного, самоубийственного хаоса, захлестнувшего Россию в 1917 году.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-17-120984-1

© ООО «Издательство АСТ», 2026

ОКАЯННЫЕ ДНИ

МОСКВА, 1918 г.

1 января (старого стиля).

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит.

— Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет...

Бодро, с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

Нынче опять такая же встреча, — Сперанский из «Русских ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

— Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января.

Был на заседании «Книгоиздательства писателей», — огромная новость: «Учредительное собрание» разогнали!

О Брюсове: все левее, «почти уж форменный большевик». Не удивительно. В 1904 году превозносил са-

модержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик.

5 февраля.

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямоотой суждений, был в мягкой рубаше без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,
Жадно ловит Инбер клич его, —
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

6 февраля.

В газетах — о начавшемся наступлении на нас немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежесбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад

вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все несут чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц выпустила, так как их нечем кормить:

— Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех пережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «вот то верно!» — и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

— Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падают люди!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу — и, оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из горьковской «Новой жизни»:

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов российского пролетариата, именем кото-

рого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Из «Власти народа»:

«Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете Рабочих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий...»

Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова.

По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

— Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.

— Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

— Если кто совершит кражу или кто примет краденое, то лишить жизни.

— Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропоролы вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого...

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

— Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!

Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

— Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Россия!

7 февраля.

Во «Власти народа» передовая: «Настал грозный час — гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!»

Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В «Русском слове»: «Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и, по распоряжению местного революционного трибунала, препровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красноармейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оредеж».

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синее ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

— Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам? Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, — придут, придут, а вот что-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля — бегут и с восторгом, с неестественными ударами кричат мальчишки:

— Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля.

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалает, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может смотреть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

— Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

— Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

— Мне нечего объяснять. Вы сами должны понять...

— Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

— Что случилось? А вот погодите, поймете...

Приехал Дерман, критик, — бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по колено в крови». Какого-то старика-полковника живьем зажирили в паровозной топке.

9 февраля.

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, слава богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

— Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать...

— Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама.

— После этого я с вами и говорить не желаю.

— И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим.

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как *вы* триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, — почему именно «легион»? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь.

Жены всех этих с. с., заседавших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

19 февраля.*

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим ходят нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, — все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это... вот Я приведу на народ сей пагубу, *плод помыслов их*».

* Очевидно, опечатка (*ред.*).

Потом читал корректуру своей «Деревни» для горьковского книгоиздательства «Парус». Связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт
И по хлевам чадит навоз...
Жара, страда... Куда летит
Через усадьбу шалый пес?

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом. Летом прошлого года это осуществилось полностью:

Вот рожь горит, зерно течет,
А кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И, как Мамай, всю Русь пройдет...

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17 года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет.

А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер — что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а «просто едут по железной дороге» — занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, не более, не менее.

В «Известиях» статья, где «Советы» сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал.

14 февраля.

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками — бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: «Ну, вот, немец придет, наведет порядок».

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломаются. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

— Простите, ради бога, в ноги поклонюсь!

Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

— Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальником, и недаром. Новые господа.

Газеты с белыми колонками — цензура. Мурашов «выбыл» из Москвы.

Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом:

— Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владел. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все.

15 февраля.

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы «встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами».

Луначарский призывает даже гимназистов записываться в красную гвардию, «бороться с Гинденбургом».

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов...

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля.

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же, — о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

— Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

— Москва, брат, теперь ни... не стоит.

— Теперь и провинция ни... не стоит.

— Ну, вот немец придет, наведет порядок.

— Конечно. Мы все равно властью не пользуемся.

Везде одни рогатые.

— А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах...

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

— Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя, черт его знает, — может, и правда.

В четыре часа в Художественном кружке собрание журналистов — «выработка протеста против большевистской цензуры». Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

— Да, вы только подумайте! И журналист-то был паршивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский — киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской — главный немецкий штаб; жить